

Аэропланы в Брешии. Франц Кафка

Мы прибыли на место. Перед аэродромом расстилается большая площадка с подозрительными деревянными домиками, чьё назначение с первого взгляда кажется иным, нежели: гараж, Международный Буфет и так далее. Ужасные, разжиревшие в своих тележках попрошайки тянут руки, загораживая нам дорогу, и в спешке мы почти поддаёмся соблазну перепрыгнуть через них. Мы обгоняем многих, и многие обгоняют нас. Мы всматриваемся в воздух, с которым и связано всё здесь происходящее. Слава Богу, никто пока ещё не летает! Мы не уворачиваемся, но и не попадаем под колёса. Меж тысяч повозок, позади них и навстречу им скачет итальянская кавалерия. Порядок и несчастные случаи кажутся одинаково невозможными.

Однажды поздним вечером в Брешии нам нужно было срочно попасть на определённую улицу, по нашим понятиям, находившуюся достаточно далеко. Извозчик спрашивает 3 лиры, мы согласны на две. Извозчик отказывается, и только из дружеских побуждений описывает нам прямо-таки ужасающее расстояние до этой улицы. Мы начинаем стесняться своего предложения. Ну хорошо, 3 лиры. Мы садимся, три поворота коляски в коротеньких переулках – и мы на месте. Отто, более энергичный, чем мы оба, заявляет, что далёк от мысли платить 3 лиры за поездку, длившуюся не более минуты. Одной лиры более чем достаточно. Вот – одна лира. Уже ночь, переулок безлюден, а извозчик, видимо, силён. Он сразу же приходит в такое иступление, как если бы спор продолжался уже целый час: Что? – Это же обман. – Что мы о нём думаем. – Договор был на 3 лиры, и он должен 3 лиры получить, а не то мы ещё посмотрим. Отто: «Тариф или я зову караульных!» Тариф? Нету никакого тарифа. – Какой такой тариф! – Был договор о ночной поездке, он согласен на две лиры, мы должны заплатить, а после этого можем идти на все четыре стороны. Отто, угрожающе: «Тариф или караульные!» Ещё несколько криков и метаний, потом извлекается тариф, на котором нельзя разглядеть ничего, кроме грязи. Поэтому мы останавливаемся на 1,5 лирах, и извозчик едет дальше, в узкий проулок, где негде развернуться, разозлённый и, как мне кажется, разочарованный – поскольку наше поведение, к сожалению, неправильно; так нельзя вести себя в Италии, где-то в другом месте, вероятно, можно, но не здесь. Да разве в спешке сообразишь! Ничего не поделаешь, за одну скоротечную неделю, целиком посвящённую полётам, итальянцем не станешь.

Однако раскаяние не имеет никакого права портить нам настроение на лётном поле, потому что иначе возникнет лишь новое раскаяние, и мы скорее прыгаем, чем идём на аэродром в той восторженности всех суставов, которая иногда охватывает нас, одного за другим, под здешним солнцем.

Мы проходим мимо ангаров, закрытых занавесами, словно райки бродячих комедиантов. На треугольных сужениях фасадов написаны имена авиаторов, чьи машины скрываются внутри, а сверху развеваются триколоры их родины. Мы читаем имена: Кобьянчи, Каньо, Кальдерара, Ружье, Кёртисс, Монкер (трентинец,[1] носящий итальянские цвета, им он доверяет больше, чем нашим), Анзани, клуб римских авиаторов. А Блерио? – спрашиваем мы. Блерио, о котором мы только и думали, где же Блерио?

По обнесённой изгородью площадке перед ангаром бегают Ружье, маленький человечек с примечательным носом, рукава постоянно елозят вверх-вниз. Он объят бурной, несколько неясной деятельностью, он поддегивает рукава резкими движениями, ощупывает себя на ходу руками, отсылает своих рабочих в ангар, зовёт их обратно, идёт сам, тесня всех перед собой, а в стороне стоит его жена в тесном белом платье и маленькой чёрной шляпке, туго втиснутой в причёску, ноги в короткой юбке слегка расставлены, взгляд вперяется в жаркую пустоту – занятая женщина с тьмою забот и дел в маленькой голове.

Перед соседним ангаром сидит в полном одиночестве Кёртисс. Под приподнятыми занавесами виднеется его аппарат; размером он больше, чем о нём рассказывают. В тот момент, когда мы проходим мимо, Кёртисс держит в руках нью-йоркскую «Геральд» и читает верхнюю строчку на одной из страниц; через полчаса мы возвращаемся, а он как раз добрался до середины этой страницы; ещё через полчаса заканчивает эту и начинает читать следующую. Похоже, летать сегодня он не намерен.

Мы поворачиваемся и видим широкое поле. Оно такое большое, что, кажется, всё на нём теряется: финишная планка недалеко от нас, сигнальная мачта вдалеке, стартовая катапульта где-то справа, автомобиль Комитета, который с наполненным ветром жёлтым флажком выписывает на поле полукруг, останавливается и едет дальше.

Посреди почти тропической страны сооружен искусственный пустырь, и итальянская знать, блестящие парижские дамы и тысячи прочих людей собрались здесь, чтобы сощуренными глазами часами обозревать солнечную пустошь. На всей этой площади нет ничего, внесившего бы какое-то разнообразие, как на других спортивных площадках. Нет хорошеньких барьеров лошадиных скачек, белой разметки теннисных площадок, свежего газона футбольных полей, каменных подъёмов и спусков авто– и велопонок. Только два или три раза за весь день поперёк поля проезжает рысью красочная конная процессия. Копыта коней скрыты в облаках пыли, равномерный свет солнца не меняется до пяти часов вечера. И чтобы ничем не нарушать этой панорамы, отсутствует всякая музыка, и только свистки с дешёвых мест пытаются хоть как-то удовлетворить голодное ожидание и слух. Зато публика на трибунах за нашей спиной могла бы безраздельно слиться с глухим полем.

В одном месте у деревянных перил скопилась кучка людей. «Какой маленький!» – вскрикивает, словно всхлипывает, французская группа. Что там происходит? Мы пробираемся сквозь толпу. И вот, на поле, совсем рядом, стоит маленький аэроплан, выкрашенный настоящей охристой краской, его подготавливают к полёту. Теперь нам виден и ангар Блерио, а рядом – ангар его ученика Леблана, они выстроены прямо на поле. Прислонясь к одному крылу, стоит незамедлительно узнаваемый Блерио: утопив голову в плечи, он смотрит на руки занятых мотором механиков.

Один из рабочих берётся за лопасть, резко дёргает, пропеллер вздрагивает, слышен тяжёлый звук, словно мужской вздох сквозь сон; но винт снова замирает. Следующая попытка, ещё десять попыток, иногда пропеллер останавливается сразу, иногда делает несколько оборотов. Что-то не в порядке с мотором. Работа закипает по новой; зеваки утомлены больше непосредственных участников. Мотор смазывают со всех сторон; невидимые болты ослабляют и затягивают; кто-то бежит в ангар и приносит запасную деталь; она не подходит; он бегом возвращается и, присев на корточки на полу ангара, дорабатывает её, зажав в коленях молоток. Блерио меняется местами с механиком, механик – с Лебланом. Все поочередно дёргают за лопасти. Но мотор не знает пощады – будто ученик, которому всегда помогают, весь класс подсказывает ему, но нет, он не может, он постоянно запинаясь, снова и снова застревает в одном и том же месте, сдаётся. Некоторое время Блерио сидит в своём кресле совсем тихо; его шесть помощников стоят вокруг, не двигаясь с

места; кажется, что они замечались.

У зрителей – передышка, можно осмотреться. Приближается молодая госпожа Блерио с материнским выражением на лице, двое детей послушно идут за нею. Когда её муж не может летать, её это не устраивает, а когда он летает, она боится; кроме того, у неё слишком тёплое для такой погоды платье.

Пропеллер снова начинают крутить, может быть, чуть лучше, чем раньше, а может быть, и нет; мотор с шумом заводится, как если бы его заменили на новый; четверо мужчин удерживают машину, и посреди безветрия потоки воздуха от вращающегося пропеллера колышут синие рабочие комбинезоны. Не слышно ни слова, только шум пропеллера отдаёт команды, восемь рук отпускают аппарат, он долго бежит по земле, неловко, словно увалень по паркету.

Следует множество подобных попыток, и каждая оканчивается ничем. Всякий раз публика вскакивает с мест и взбирается на плетёные кресла, лоя равновесие расставленными руками и надеясь, беспокоясь и радуясь одновременно. В паузах зная разгуливает между рядами, приветствуя друг друга, заново знакомясь, обнимаясь, всходя на трибуны и спускаясь с них. Друг другу указывают на принцессу Летицию Савойя Бонапарт, на принцессу Боргезе, пожилую даму с лицом цвета тёмно-жёлтого винограда, на графиню Морозини. Кажется, что Марчелло Боргезе сопровождает каждую присутствующую даму, и в то же время – ни одну из них; выражение его лица издали кажется прозрачным, но с близкого расстояния взгляд натывается на непроницаемые складки над углами его рта. Габриэль д'Аннунцио, маленький и хрупкий, с ложной скромностью танцует перед графом Ольдофреди, одним из важнейших членов Комитета. С трибуны, поверх перил, взирает тяжёлое лицо Пуччини с носом алкоголика.

Но эти персоны заметны, только если их нарочно выискивать глазами в толпе, а иначе всех остальных затмевают новомодные высокие дамы. Они предпочитают ходить – сидеть в их платьях не очень удобно. Их лица под восточными вуалями покрывает лёгкий сумрак. Свободное сверху платье производит впечатление нерешительности во всей фигуре; какое беспокойное, смешанное чувство вызывает кажущаяся нерешительность этих дам! Талия непостижимо низко спущена и выглядит шире, чем обычно, потому что всё остальное такое узкое; весь облик этих женщин просит обнять их теснее.

Выставленный ранее на всеобщее обозрение аппарат принадлежит Леблану, а теперь появляется тот, на котором Блерио перелетел через канал; никто этого не говорил, все понимают это и так. Долгая пауза, и Блерио оказывается в воздухе: над крыльями самолёта виден его прямой торс, а ноги утоплены в корпусе машины, как если бы были её частью. Солнце склонилось к закату и освещает парящие крылья из-под балдахина над трибунами. Все преданно следят за пилотом, и ни в одном сердце нет места ни для чего другого. Он описывает небольшой круг и почти вертикально взмывает над нами. Все вытянули шеи, следя за тем, как моноплан вибрирует, как Блерио выравнивает его и поднимается вверх. Что же происходит? На высоте 20 метров над землёй человек заключён в деревянный каркас и добровольно подвергаясь опасности, пытается выдержать взятое на себя испытание. А мы толпимся на заднем плане, отпрянув, почти нереальные, и наблюдаем за этим человеком.

Всё кончается хорошо. Тут с мачты сигналият, что ветер ослаб: значит, Кёртисс тоже полетит – ради главного приза Брешии. Всё-таки да? Не успевают все до конца поверить в это, как уже слышится звук мотора, и едва взгляды поднимаются вверх, он уже улетает – над полем, разбегающимся перед ним, к лесу вдаль, будто только что выросшему из-под земли. Его полёт над лесом затягивается, он исчезает, мы видим только лес, а не его. Из-за домов, Бог знает откуда, он появляется на той же высоте, пролетает мимо; когда он поднимается, нам видны наклонные нижние плоскости биплана, когда опускается – верхние плоскости отсвечивают на солнце. Он облетает сигнальную мачту и, безразличный к шуму приветствий, вырывается на то место, с которого взлетел, – и сразу же снова становится маленьким и одиноким. Он совершает пять таких кругов, пролетает 50 км за 49 минут 24 секунды и выигрывает главный приз Брешии, 30.000 лир. Это безупречный полёт, но безупречность не в почёте, каждый считает себя, в конце концов, способным на безупречность в чём-либо, безупречный полёт не кажется мужественным поступком И пока Кёртисс занят своим делом над лесом, пока его жена, которую каждый уже знает в лицо, волнуется о нём, толпа его почти забыла. Повсюду сожалеют о том, что Кальдерара полететь не сможет (его машина разбита), что Ружье уже второй день возится со своим «вуазаном», не отходя от аппарата ни на шаг, что «Зодиак», знаменитый итальянский дирижабль, никак не доберётся до места. Слухи о неприятностях Кальдерары распространяются с таким рвением, что кажется, будто любовь нации вознесёт его в воздух надёжней, чем «райт».

Не успевает Кёртисс завершить полёт, как заводят моторы в трёх других ангарах. Потоки ветра и пыли с разных сторон сталкиваются друг с другом. Одной пары глаз не хватает. На креслах ёрзают, раскачиваются, хватаются друг за друга, извиняются, кто-то, пошатнувшись, увлекает кого-то за собой, благодарит. Наступает ранний вечер итальянской осени, на поле уже не всё ясно различимо.

В то время как Кёртисс, вернувшись из победного полёта, не глядя, слегка улыбаясь, стягивает шлем, Блерио начинает небольшой полёт по кругу, и все заранее знают, что он его завершит! Никто не может сказать с уверенностью, кому аплодирует – Кёртиссу, Блерио или уже Ружье, бросающему в воздух свой большой, тяжёлый аппарат. Ружье сидит за рычагами, как господин за письменным столом, добраться до которого можно только по маленькой лесенке за его спиной. Он поднимается маленькими кругами, облетает Блерио, тот провожает его глазами, а Ружье взлетает все выше и выше.

Если мы хотим найти свободный экипаж, то самое время отправляться; многие уже протискиваются в толпе мимо нас. Известно, что это просто экспериментальный полёт, потому что уже 7 часов, и его не будут регистрировать официально. На дворе перед аэродромом стоят на сидениях шофёры и слуги и показывают на Ружье; перед аэродромом стоят кучера в беспорядочно расставленных по двору экипажах и показывают на Ружье; три забитых до отказа поезда не шелохнутся – из-за Ружье. Нам по счастью достаётся свободный экипаж, кучер устраивается перед нами на корточках (облучка нет), и наконец вернувшись в своё привычное «я», мы трогаемся с места. Макс справедливо замечает, что нечто подобное можно и следовало бы организовать в Праге. Не обязательно авиационные соревнования, хотя и эта мысль недурна, но пригласить авиаторов несложно, и никому из организаторов не пришлось бы потом в этом раскаиваться. Так просто; ведь Райт сейчас летает в Берлине, скоро Блерио будет летать в Вене, а Латам – в Берлине же. Им всего-навсего пришлось бы сделать небольшой крюк. Мы ничего не отвечаем – во-первых, потому что устали, во-вторых, потому что нам всё равно нечего добавить. Дорога поворачивает, и Ружье показывает на такой высоте, что его местонахождение, кажется, скоро можно будет определить только по звёздам: они должны вот-вот появиться в темнеющем небе. Мы, не отрываясь, смотрим ему вслед; Ружье поднимается ещё выше; а мы неотвратимо устремляемся вглубь Кампаньи.

Примечания

1 Трентинец – житель Трентина, провинции в Южном Тироле – после Первой Мировой Войны эта территория вошла в состав Италии; в 1909 г., когда Кафка писал фельетон, Тироль был независимым; имея общие границы с Австрией, Германией и Италией, Тироль двуязычен и всегда имел сложные отношения с этими странами. (Прим. переводчика)